

Катерина Вовчок Марко

I

Не нажить уж нам такой знахарки, как покойная Даниловна! Сколько людей за нее бога молят! Кто ее знал — благословляет, и кто только слышал про нее — и тот благословляет. Так уж из рода в род ей почет идет.

А я-то ведь выросла вместе с нею. Она была из чужой стороны к нам завезена. Досталась нашему барину где-то далеко вотчина, вот и поехали они с барыней, пробыли там месяца два и привезли с собой оттуда девочку Катю, сиротку, так лет десяти. Чудна показалась нам та девочка: не то чтобы приласкаться, ступить она не умеет, в платье путается, а говорит как-то мудрено, не по-нашему.

Нас у барыни целая орда девчонок была: мы, бывало, и смеемся между собой: какую это диковину нам привезли! Расспрашиваем у ней о том, о сем,— она только пугливо осматривается; рассказать ничего не хочет. А уж как окружим ее да пристанем крепко,— она вырвется от нас, или станет да руки себе ломает.

Бывало, барыня в гости поедет,— мы ее кличем погулять, побегать с собою; не идет с нами, а бежит одна к курганчику, что под лесом; там сядет и сидит. И звала она тот курганчик *могилою*; мы ее заверяем: «Не могила это: тут никто не хоронен». А она нам: «Могила!» — и рукою поведет по тому курганчику, и опять — могила, да и все тут. Смеялись мы, смеялись, да после и сами прозвали курган *могилою*.

А нас все дичится; мы ее и ласкали, и голубили, а там и досадно нам стало, что за наш привет нет от нее никакой ласки,— и стали мы ее гнать да гнать. Глупые были мы дети, нежалостливые!

II

Приметили мы, что она каждый вечер ускользнет в барынину спальню и сидит там, еще и дверь притворит; а чуть заслышит, что господа из гостиной идут, выбежит. «Что она там делает?»— думаем. И сговорились мы: подкрадемся да посмотрим. Так и сделали.

И видим мы — горит в спальне лампадка перед образами и светит в окно полный месяц, а Катя сидит на полу, спустила с одной руки платье и рассматривает рукав на рубашке (а у нее были такие рубашки со своей стороны привезены, что рукава вышиты и расстрочены не по-нашему), рассматривает да так задумалась-задумалась... только изредка слезинка скатится по щеке. И лампада на нее светит, и полный месяц, а она перебирает пальчиками свой рукавчик шитый... Мы ухнули на нее — и не дослышала; а как с хохотом вбежали, испугалась, заплакала и сказала по-своему нам:

— Не трогайте вы меня!

Жалко мне ее тогда стало; я обнимаю ее, а она меня тихонько отталкивает.

На ту пору пришла барыня: «Кто смеет в спальне сидеть?» Пригрозила, накричала и узнала, что было. Досталось нам, а еще пуще Кате.

С тех пор мы и проходу ей не даем: все тем рукавом смеемся. Она молчит. Только после того не видали мы у ней рубашки. Не знаю, куда она ее дела; мы думали, не сожгла ли.

III

Прожила она у нас зиму. Учила ее ключница работам разным. Она слушалась, да толку-то что-то мало выходило — плохо понимала. Стала она что-то занемогать. Мы долго не примечали; а она все слабей, бессильней становилась. Уж не вырывается от нас, не борется с нами, а как схватим, то она только глаза закроет. А мы все-таки ее донимаем. Где же детям рассуждать?

Слегла Катя больна. Узнали мы, прибежали к ней. Лежала она в чуланчике под лестницею, и присматривала за ней ключница. Посмотришь на нее — словно восковая, прозрачная стала такая. Возьмешь за руку, пустишь,— рука падает. Когда б не глаза ее горящие, подумали бы: мертвая. Остались от прежней красы только брови черные, такие как шнурочек.

Мы молчим, и она молчит. Посидели так и ушли, и что-то нам скучно без Кати стало.

IV

Утихла непогода, перешли дожди весенние, потеплело, зазеленело, зацвело. Легче стало Кате немножко, и просится она у ключницы погулять. Выпросилась и прямо к тому курганчику, что могилою звала, прямо туда... А как она выздоровела, мы опять на нее напустились, опять ссориться с нею стали, насмехаться.

Мы и вздумали опять ее подстеречь да испугать; и как она пошла, мы другою дорогою туда же побежали. Курганчик тот густою зеленою травою зарос, да высокою такою! а тут кругом лес — дуб и береза. Вот мы ползком поближе подобралась, смотрим — лежит Катя, покачивается тихонько и какую-то песенку поет, да так тихо, так жалобно, словно слезы горькие выливает. Покачивается, будто в люльке, и поет:

Ой ти, коте, коточок,
Не йди рано в садочок...

Мы слушаем. Пела она и про голубку, и про пташку-зозулю, и про сестер, и про братьев. Пела — мы заслушались; стоим, как замороженные, а Катя все поет да поет. А как подошли мы к ней, голос ее замолк, испугалась, побледнела. Мы ее целовать стали и просим:

— Скажи нам,— просим,— где твоя сторона далекая? И какая она? Расскажи?

Она только вздрогнула.

— Ну, скажи нам,— просим,— все там на твоей стороне говорят, как ты? У всех рукава вышитые? Все эту песенку знают? И нас выучи этой песенке!

Она взглянула на нас да как заплачет! Опять взглянула и на нас, и вокруг на лес, на поля, махнула рукой и вниз лицом упала, рыдаючи.

V

А на утро уж не встала она; горит вся и несвязные речи лепечет. То вдруг поднимется, как

здоровая, сядет, склонит голову на руку и запоет песню. И песня поется, и слезы у ней рекой льются. То весело и тихо поет, а вдруг воскликнет, словно от боли жгучей, поднимется и глядит на нас ясным-ясным взглядом; ажно жутко нам станет.

Велела барыня перевести ее в людскую, и шесть недель она проболела. Приходила в память, да все как-то не в полную память: смотрит кругом и никого будто не знает. И с год вот так-то она промучилась. И полегчает, кажется, а там опять бредит и опять томится.

VI

А как уж пришла она к нам после недуга, мы ее и не узнали: высокая-высокая стала, да тонкая, да худенькая. Румянец пропал, и глаза как-то потухли. Тише она стала и суровее. Один раз мы попробовали ее по-прежнему подразнить и больше уж никогда не пробовали. Она уж не рвалась и не кипела, как прежде, а сказала нам только:

— Что вам надо? Я вас не трогаю, не трогайте же меня!..

И спокойно так сказала, и поглядела на нас спокойно.

Целый, бывало, день она работает и слова не проронит.

Барыня ее любить стала: «Вот у меня работница,— бывало, гостям хвалится,— прилежная такая и умная!»

Ее песенки мы уж не слышали. Просили ее сколько раз,— понапрасну!

— Спой ты нам ту песенку, что ты ходила на могилу петь!

— Я не помню,— отвечает,— не знаю.

А сама любила слушать, как поют. Молчаливая была и неприветливая, а, бывало, нет-нет, да и скажет: «Пойте, девушки, пойте!» Сами мы не знали, как это мы ее слушались так безотговорочно. Просит «пойте» — мы и петь станем.

А она уж чисто говорит и по-своему, кажись, отвыкла, забыла.

VII

Мы ее словно бояться стали. Припомнили все прежнее, что за чудная она была изначала. А еще больше страха она навела на нас, как стала бродить по полям, по лесам, да травы, да цветки собирать. Дождется праздника, пошлют нас по ягоды или по грибы господам, а она только слава, что ходит с нами. Горсточка и той не наберет, а трав да цветов полны руки. Мы, бывало, замечаем втихомолку за нею: то стоит на небо смотрит, то в воду глядит. Подойдет к дереву — каждый листочек, кажется, мил ей; по полю, по лесу ли ходит — ко всему приглядывается, прислушивается и, кажется, оживает она. Вот будто ей и весело, и грусть берет, и будто ей чего-то плакать хочется.

VIII

Еще два года жила она с нами, все такая же; потом барыня отдала дочь замуж, поехала гостить к молодым и Катю с собой взяла. Мы, как прощались с нею, сильно плакали, а она не плакала, только печальна была и целую ночь где-то проходила; до свету пришла и много цветов, много трав принесла.

Вот уехала она с барыней, и долго потом я ее не видала. Барыня наша заболела, прохворала целые два года и умерла там. Во все это время мы лишь изредка, бывало, что услышим об Кате. Приказчик туда ездил, так вот он и рассказывает: слышал — замуж ее отдали там, да говорили еще, что отдали-то силою. «А она осталась такая ж, как и прежде была, и от мужа в лес бегаёт»,— смеется.

И мы посмеялись.

Вот это одним летним вечером сидим мы да говорим себе, и тихо так везде. Вдруг колокольчик! Все ближе да ближе. Видим—летит карета прямо к крыльцу. «Господа! Молодые господа!»

Выходят они, а за ними женщина,— Катя! Мы обрадовались, целуем ее, обнимаем, осматриваем, что из нее за человек стал. Она ласково нам отвечает. Но все чудное что-то в ней. Смотришь на нее, и кажется тебе, что только она и выросла, и разуму дошла, а что ты-то дитей осталась перед ней, что не ровня ты ей.

IX

И муж ее приехал.

С мужем она жила не очень согласно, а он ее крепко любил и часто, бывало, плачется на нее, что вот жена меня не любит. А она хоть бы слово ему какое утешное сказала,— опустит только глаза и неподвижная такая, строгая и суровая. Он глянет, вздохнет и усмирится сейчас же. А как только ее нет, то он рассказывает да горюет: «И за что я люблю ее? За что? Не стоит она! И уж как я молил ее: люби! Чего же дождался? «Ты,— говорит,— меня силою взял; у тебя правды божьей нет; ты меня,— говорит,— словно товар какой присвоил». А я ее взял оттого, что я жить-то без нее не мог!» И жалко его, бывало, как слушаешь; а как ее увидишь, то отчего-то вдруг охолодеешь к нему. «Бедный человек»,— скажешь только.

А она никогда не жаловалась никому, и никто не посмел ее спросить, пожалеть в глаза; только разве песню подслушаем. Как уж она певала! Господи, как певала! Душа твоя томится и рвется, бывало, слушаючи. Тяжело тебе, а все слушал бы. Вот расскажу вам, были мы на одной свадьбе с нею, и жених и невеста — круглые сироты. Там и пели и величали, а Катерина только глядела на молодую, и словно ей жаль ее стало,— и вдруг запела, опустивши голову на руки; запела она, затужила. Все утихло; все смолкли. Разряженные гости, что и стояли, и сидели, смеялись да шутили, словно окаменели: у всех голова склонилась, и слезы в три ручья потекли. И этак тихо стало; только ее голос разливается, да рыдают молодые. А она закрыла лицо свое белыми руками да все поет, и, кажется, перестать было не в ее силе: пелось ей! А уж как она вымолвила:

Снарядить-то меня есть кому,
Благословить-то меня некому! —

и жених и невеста без памяти упали. Было в ее песне что-то нечеловеческое. А песня-то вся так пелась:

Ах ты, речка, речка быстрая,
Что течешь ты, не колыхнешься,
На крутой берег не взольнешься?
Ах ты, девица-красавица!
Что сидишь ты, все кручинишься.
Говоришь ты, не усмехнешься?

«Отчего же мне веселой быть,
На что глядя, мне утешиться?
Как и все-то гости съехались,
Только нет-то мого батюшки,
Государыни моей матушки.
Вы, сестрицы, вы, подруженьки,
Вы подите в церковь божию,
Вы ударьте трижды в колокол,
Разбудите мого батюшку,
Государыню мою матушку;
Разбудите и скажите им —
Что теперь-то мне их надобно:
Снарядить-то меня есть кому,
Благословить-то меня некому!»

С той поры ее, бывало, первую на свадьбу просят: «Запой ты, Катерина, дай нам поплакать!» Так, бывало, говорят. И она без отговорки стала ходить. Бывало, рада так, что еще за день у ней глаза блеснуть станут, и голос все дрожит.

На свадьбе, уж известно, вино пьют; вот и она привыкать к нему стала. А в первый раз вот как это было. Был у нас в деревне один горемычный человек; звали его Михайла. У него жена умерла, дети умерли, обеднел он и с горя пить стал. Вот был он на свадьбе вместе с нами и слушал, как Катерина пела, и очень он плакал горько. Налил вина, подошел к ней. «Выпей,— говорит,— выпей, сердечная,— полегчает!» Она подняла глаза, посмотрела на него, а он все плачет, все просит: «Выпей!» Взяла она и выпила.

Недаром ведь говорят, что в вине горе топится, оттого-то и пьется вино, оттого-то и жаждется горемыкам. Втянулась в него Катерина... Сначала мы не замечали, а потом как-то разом глаза у всех открылись. Она, бывало, прежде напоеется, а там уж и пить станет.

Я раз и говорю ей тихонько на пиру:

— Катерина, голубушка! Не пей ты много: Тут чужие люди есть — осудят тебя; лучше ты спой нам!

— Ах, вы люди безжалостные!— ответила горько.— Все вам пой да пой,— отдохнуть не дадите! Дайте отдохнуть, дайте выпить вина забывчивого!

И, бывало, уж как выпьет, не поет больше, а так, словно дремлет. Жалко и смотреть на нее.

Х

Детей она любила. Бывало, сама придет и сидит между ними, и все будто ей жаль их. Смотрит-смотрит, и по головке погладит, другого за подбородок возьмет или за ушко.

И дети ее любили. Сказки им, бывало, рассказывает, и чудно станет, глянувши на них. Дети и веселы, и боятся, ушки насторожили, слушают, жмутся к ней, а она рассказывает, рассказывает. Мы, бывало, и сами подберемся, слушаем. Случается, что она нас и не заметит, глаза горят, а речь-то, речь-то льется! Слово из души вылетает и в душу просится.

И никогда она одинаково не расскажет, бывало, никогда. Дети и говорят ей:

— Нет, нет,— кричат,— забыли, тетушка: тогда вот так рассказали (часто она все об Иване Безродном рассказывала), а теперь, видно, забыли!

— Детки! — молвит, а сама глядит своими яркими и проникающими очами.— Тот Иван Безродный умер; у меня другой народился!

Дети смеются, бывало, а нам взгрустнется по ней: в полном ли уме-разуме она?

XI

Жила у нас в соседнем селе одна старушка дряхлая, одинокая, и была она знахарка превеликая. Вот и расскажи кто-то Катерине, какие та старушка чудеса делает, как болящие исцеляются у ней, и как все за советом к ней бегут. Катерина задумалась, а на другой день пошла к знахарке и пробыла там долго.

Приходит — барыня гневается: «Как смела без спросу уйти!» — грозит и кричит. А Катерина слушает и все о чем-то думает-думает.

И с того дня стала она такая ласковая, такая приветливая. Бывало, как одна сидит да глянет — суровая и строгая, словно осуждает кого; а чуть услышала чей голос, увидала кого — сейчас усмехнется и глянет ласково.

И пигь бросила. Мы думаем: «Слава богу! Слава знахарке,— вылечила!»

XII

Заболела у нас девочка. Катерина и говорит ее матери:

— Полечу я вашу дочку!

Та молчит,— боится соглашаться.

А Катерина:

— Не бойся, не бойся! Я знаю, чем ее лечить, и вылечу.

«И вдруг я ей поверила,— говорила потом та женщина,— отдала дочку,— она и вылечила. Ночи над нею просиживала вместе со мною, да еще, бывало, я истомлюсь, забудусь, а проснусь — она все не спит, все на мою дочку глядит...»

Вылечила она другого, третьего и стала уж всех лечить в деревне. И по чужим ее селам даже брали — везде она помогала.

Взяли ее раз куда-то далеко к болящей. Барыня всегда ее отпускала и любила, когда ей, бывало, Катерина гостинчик какой привезет, хоть калачик, что ли. Ну, еще и то, что все ей кланялись за Катерину и ублажали ее. А она может и пустить, может и не пустить,— в ее воле... Вот была Катерина в отлучке, а я тогда и заболею: грудь у меня ноет, знобит меня, горю — тяжело приходится. Ну, думала матушка: «Повезу я тебя к старухе; она еще лучше Катерины лечит».

XIII

Приехали мы туда. Избушка стоит; крыша взъерошенная, двери скрипильные. Вошли — крошечная старушоночка лежит да охает. Я гляжу на нее пристально — дряхлая, чуть живая.

— Бабушка, помогите! — говорю.

— Помоги мне, господи, да прибери скорей! — простонала.— Я давно уж из ума выжила, дитяtko!

— А вот,— говорю,— вы нашу Катерину-то вылечили,— как рукой сняли.

— Чудна ваша Катерина! — отвечает.— Приходит ко мне, спрашивает: «Как мне на свете жить?» А сама во все глаза глядит на меня,— перепугала. Живи, касатка, как люди, говорю, да перекрестись, да молитву прочитай: на тебя напущено. Она села, перекрестилась и заплакала. А тут у меня травы висят по стенам, и на окне на солнушке сушились. «На что тебе трав столько?» — спрашивает. «Людам помогаю».— «Помоги же и мне, родная!» — «Да что у тебя болит-то? Скажи!» — «Душа моя болит!» — проговорила тихо, а у самой слезы потекли. «А голова не болит?» — «И голова болит, и вся я больна!» Вот я ей травку даю; она поклонилась и пошла. Я было вздремнула, слышу — опять стучатся, опять она.— «Что тебе?» — «Научи меня, родная, какими ты зельями лечишь?» Я рассердилась и гоню ее, а она уж так-то плачет, разливается: «Не научишь, то убей меня тут! Все равно я пропаду... я вот,— говорит,— уж сколько маялась на свете — все пусто да пусто, никого не радую, и никто меня не веселит, и дела у меня нет душевного никакого». Я думаю — дуреет она, а жалко мне ее. Я там и показала ей кое-что, больше для утехи ей. Где ж, думаю, где ей запомнить! А она ведь запомнила все. Начала, слышу, уж сама лечить. Досадно мне и обидно было, что она у меня кусок хлеба отбивает. Раз она пришла, и полны руки трав. Я ее неласково встречаю, а она словно не видит. «Знаешь эти травы, бабушка?» — «Не знаю,— говорю,— да и знать-то не хочу».— «Нет,— говорит,— ты возьми. Я тебе это принесла. Полезные травы, целующие!» — «Ты на чем их испробовала-то, что ручаешься?» — «Да на себе, бабушка».— «Как на себе?» — «А так,— говорит,— ведь я прежде-то всегда сама попыю: не свалит,— тогда и людям даю». Удивила она меня, ей-богу! А говорит-то ведь так, что сердце ей верит. И вот с той поры она мне травы-то всякие носит. Спасибо ей, не обидела меня за мою науку.

XIV

Мало помогла мне старушка. Катерина приехала — вылечила. Она, бывало, только за голову возьмет, тихо да нежно, бережно так, и то уж полегчает тебе.

И всегда она прежде, бывало, спросит:

— Нет ли печали у тебя на сердце? Расскажи мне.

Я и говорю ей раз:

— Что рассказывать-то? Чужая печаль никому не горька, чужая беда никому не разумна!

— Уж мне ли не разумна? — ответила.— Мне ли не горька? Нету на свете белом мне чужой печали,— все моя печаль. Пожила бы ты с мое — узнала бы!..

Удивилась я, слыша такую речь, и промолвила:

— А муж-то твой?

Она не рассердилась, нет! Только подумала немного и сказала:

— И его печаль— моя печаль, да не мое дело помочь ему! Не своей волей за беду я ему стала; а у него воля была неразумная.

Кажись, спокойна она стала, довольна стала, а не по дням, по часам разрушало ее. Поседела вся, и глубокие морщины такие по высокому челу легли. А все сказки сказывала, все пела по-прежнему,— еще лучше, кажись! Бывало, плачешь-плачешь, и еще плакать хочется, слушаючи.

А как она захворала, сколько людей собралось к ней! Плач-то какой! Горя-то сколько! Муж любил ее сильно; сам на человека не похож стал; плакал над ней, бывало, по целым часам, убивался страх как!

Она все молчала и смотрела на всех, словно задумавшись. Раз только, перед смертью уж, проговорила, будто себя не помня:

— Люди вы бедные! Люди вы горемычные!

Постійна адреса: http://ukrlit.org/vovchok_marko/katerina